

Четыре Времени Ветра.

Зима.

Этот день был горящим ручьём в чёрно-белой зиме 56-го, ручьём из зажжённых свечей, сливавшихся в длинное пламя.

Выходили без шапок, растерянные, потные из тёмной часовенки в тусклый солнечный свет. Идти было трудно, земля выгибалась, скользила у них под ногами. И прозрачный звон раскачивался в расщелинах неба, заросшего льдом.

Пламя било из узкого прямоугольника двери под куполом с перебитым крестом, стекало по усыпанным солью ступенькам в снег. Прожигая искрящуюся белизну, змеилось между чугунными оградами, изъеденными язвами ржавчины, между иероглифами хрустальных сучьев, между стёршимися позолоченными словами на плоских камнях, облицованных инеем, и упиралось в другой, страшный, прямоугольник, обведённый жирною рамою из жёлтых комьев.

Четверо бородатых со сверкающими, стеклянными лысынами стояли по углам, опираясь на воткнутые заступы.

Красный гранёный ящик, словно узкий кусок спрессованной, твёрдой крови, скользил над ручьём. У тех, что шли впереди, пылали отмороженные лица. Холод, спустившийся с изжелта серого, твёрдого неба, тонкими иглами входил в их тела, острою дрожью ломался в промёрзших венах. Цепляющиеся друг за друга тени опускались на дно, и белое дыхание – видимая часть их душ - висело над ними.

Они шагали, угрюмо вытянув перед собою разбухшие от воска рукавицы, где бились кусочки огня. Молчание их было как ледяная короста, застилавшая землю. И неподвижные чёрные грачи, охранявшие здесь каменные плиты, вцепившись в ограды трёхпальными когтистыми лапами, смотрели на них в упор.

Последним брёл, тяжело спотыкаясь на каждом шагу о торчавшие из снега корявые тени, шестнадцатилетний человек в коротком драповом пальтишке. У него ещё не было ни знания, ни памяти.

Маленький, обозлённый ветер – не ветер даже ещё, а поветрие, первое поветрие лютой стужи - голосил сразу со всех сторон, царапал острыми кристалликами снежного солнца. Зернистую изморозью стягивал губы, тугой холодной спиралью пеленал, обматывал голову, расплющивал слёзы.

Перед телесными глазами качались согнутые спины. Но видел он раздувшееся круглое лицо, сургучной печатью лежавшее на коченевшей плоти. И надпись высоко над ним: «Буду плакать я перед Господом». Видел, как дремучий священник, окружённый многоголовой, безблагодной тишиною, отпускает душу, как кладёт уходящему в руку дощечку с разрешительной молитвой. Видел, как серебристая тень промелькнула над красным ящиком и растворилась в куполе. Видел, как плыло в потоке свечей неподвижное тело, намертво зажав в кулаке свою подорожную. Плыло туда, где должно истончиться, исчезнуть всё то, что было здесь плотью.

Ручей, и внутри его до костей промёрзший человек в драповом пальтишке, без шапки, с волосами, поседевшими от инея, стекали в широко распахнутую дверь, обозначенную жёлтыми, со слюдяными прожилками комьями. Дверь, которую охраняли четверо снулых стражников с рыбьими глазами и с воткнутыми в твёрдую землю огромными заступами. Дверь, ведущую на другую сторону.

Над заснеженным, словно гашёною известью выжженным, полем, над каменными плитами с позолоченными именами, над горящим ручьём плыл воздух, сохранивший форму гранёного ящика. Светился скол тусклого неба, наполненный оловянным солнцем. Голосил, надрывая связки, маленький ветер. И жирный дым стелился из чёрной заводской трубы, правильной безнадежностью протыкавшей насквозь горизонт.

Весна.

Идти от шоссе пришлось полчаса. Шли, нагруженные бутылками, раздвигая частокол солнечных лучей, по прозрачному редколесью, среди нарядных стройных берез, гордо выпячивавших свои зелёные животы на запелёнутых берестою стволах. Потом вдоль подёрнутой серебристым свеченьем, весёлой речки, которая плавно кружилась среди белобрысых лопухов, хвощей и крапивы, обнимала блестящими излучинами

валуны, обросшие мхом. И журчанье её казалось прерывистой речью - маленькой, захлёбывающейся речью недавно воскресшего леса.

Расположились на лужайке, окружённой кустами, у самого берега Медного Озера, белая кромка которого была уже оплавлена утренним солнцем. На маслянисто-тёмной воде уютно плескались цветные пластинки. Одинокая лодка без гребца и без вёсел покачивалась между тучами в зыбком купоросном зеркале, и над ней, как одноглавый герб, впечатанный в толщу балтийского неба, висел, распластав свои хищные крылья, неподвижный ворон.

Расстелили клеенку, бутылки расставили, открыли консервы. Жужжащие обручи мошкары появились над головами. Уселись неторопливо, раскуривая в ладонях предстоящее молчание. Словно чувствовали уже ту боль, которую я не успел ещё причинить, но делали вид, что всё, как обычно. И моя неуклюжая к ним благодарность смешивалась с каким-то беззаботным нетерпением, нетерпением перед тем, что наступит всего через несколько дней. Так в последний момент перед смертью верующие, забывая о прошлом, ожидают вступления в новую, подлинную жизнь.

Вокруг окропленные солнцем кусты, похрустывая вывернутыми суставами, лениво расправляли свои набухавшие соками ветви. Промёрзшая чернота, накопившаяся в капиллярах, перепонках, волокнах за долгую зиму, высветлялась, проступала наружу тугими припухлостями. Метались в клевере мухи, шмели, на невидимых нитях качались бледно-зелёные гусеницы. В траве, только что превратившейся в миллионы травинков, таял, сворачивался в крохотные радуги утренний свет, ещё не отделившийся от тьмы.

Чьи-то красные руки бросали сверкающий хворост в костёр, с ворчливым кряхтением медленно ворочавшийся с боку на бок. И слышно было, как подбираются к клеёнке ветвистые тени в развевающихся дымных одеждах, как подминают они на своём пути белые взрывы одуванчиков, переплетённые запахи вереска, клевера, гнили болотной и синее марево сигаретного дыма, и дыма костра.

Я оглянулся по сторонам, - и, словно напильником, по душе полоснул тугой воспалённой нежностью почек, качавшихся над головою.

Не так-то просто будет привыкать к пустыне.

Добрый дух оживших кустов, молодой, неуёмный ветер, носился по лужайке, перемешивал блики и радуги в росистой траве. Клейкие листики, просвечивавшие кровеносной белизной, касались друг друга, замирали и снова разбегались, будто играли в свои зелёные пятнашки. Усатые бабочки, стрекозы, мотыльки, ошалевшие от солнца, чинно рассевшись по веткам, наблюдали за игрой. Всё это надо было запомнить. До мельчайшей детали. До прозрачных с красными прожилками крыльев, аккуратно

сложенных кверху. Не придумывая ни единого кружка, прочерченного золотыми чернилами, на спине у божьей коровки, неторопливо ползущей по рукаву.

Моё тело сейчас находилось вместе с друзьями среди живых кустов и радуг, рассыпанных в солнценосной траве, на берегу тихо мреющего в утреннем свете озера. А я, освободившись от его тяжести, освободившись от времени, поднимался в горы над нижним краем небосвода. И ветер, взметнувшийся вслед за мною с лужайки, указывал путь.

Тень, становившаяся всё короче, забегала вперёд, замирала, тёрлась о ветер и снова суетливо петляла под ногами. Наконец, я достиг перевала. Далеко на юге приоткрылась светлая полость в тучах. Она медленно расширялась, и я уже видел внутри двухэтажные домики с плоскими крышами, выпирающие из крыш купола, холмы, просвечивающие друг сквозь друга, и за ними пустыню, сияющую миллионом красноватых зёрнышек света, – голое тело моей обетованной земли.

... достигнув перевала, продолжай восхождение... к себе, от земли своей, от друзей своих, от дома своего... в пустыне пути приготовьте... и время пошло...

Ещё одна тень появилась у меня – размытая, длинная тень, вдруг выросшая за спиною. Она упрямо цеплялась за камни, тянула назад. Горячий свет пустыни сталкивался с обманным светом Медного Озера. И столб из двух перекрученных светов превращался в огромный гриб. Он поднимал стремительно и бесшумно сгрудившиеся над перевалом каменные тучи, выгибал, выдавливал кверху низкое небо. Горизонтом очерченный круг расширялся, и всё, что я видел, теперь было связано ритмом, прерывистым ритмом дыханья и слов, ускользящим и проступающим снова ритмом.

Я заставил себя оглянуться. В зелёном разлившемся листовии, в самой его глубине вездесущий ветер, успевший уже протянуться сквозь две мои жизни, кусочек огня оторвал от костра и чиркнул им по лужайке. И тогда я сквозь слёзы с трудом разглядел посреди расплывавшихся, блеклых кустов красно-белый квадратик клеенки, на ней длинный строй изумрудных бутылок, себя самого и своё одиночество, которое, словно побитая собака, рядом крутилось, заглядывая в глаза мне, и всех своих близких, - с ними вместе и тех, кто уехал давно, - неподвижно сидевших с искрящимися обручами мошкары над головой и с поднятыми вверх гранёными стаканами в руках. Лиц их уже было не разобрать, но я знал, что они сейчас справляют поминки. Поминки по мне.

И свет понемногу из них уходил.

Лето.

Тёмное пятно, проступившее прямо над луною, стремительно разрасталось, превращалось из безобидной тучи в распостёртые крылья черного архангела, голова которого была уже за краем горизонта. Крылья вздымались и опускались снова, разгоняя в асфальте расплющенные вееры пальмовых теней и все плотней накрывая своим серебристым исподом притихший город.

Горячий ветер к земле прижимал налитую грозным шуршанием плоскую крышу. До блеска вылизывал сотней прозрачных своих языков. Обсасывал, одну за другою, каждую из мерцавших антенн. Бережно, чтоб не погнуть, вытирал их обрывками мокрых газет. И осипшие птицы воздуха, раскрыв от ужаса клювы, метались между хлопающими газетными листами.

Светопреставление началось ветвящимся белым спазмом в груди архангела, в тёмной взлохмаченной завязи между сросшихся крыльев. Небосвод раскололся беззвучно, осколки сверкающей тьмы рассыпались над городом, и молниеносная трещина впиалась острым концом в далёкие болота.

Белая волна света окатила меня с головой. Сквозь водяные знаки на стекле проступили молочные плафоны на согнувшихся, лунных стеблях, круги размытого света в асфальте под ними, спины съёжившихся автомобилей. Взметнулся крылатый мусор. По осиянной безжизненным свечением, пузырящейся улице сломанные ветки пальм, словно скелеты доисторических рыб, уплывали к океану.

Я подошел к раскрытому окну и глубоко затянулся ветром. Весёлые пузырьки озноба поднимались откуда-то из глубины тела. Разноцветная стая рубах трепетала сигнальными флагами бедствия на соседнем балконе. Аккуратные кварталы из кубиков блестящего мрака, простроченного мигающими огоньками, - двойное свечение фосфора и антрацита - тянулись, насколько хватал глаз. Дышать было трудно. Воздух был разреженным, будто трещина в небе втянула в себя его большую часть. Звонящая легкость разлилась внутри, омывая, разглаживая засохшие пролежни на душе. Но в лёгкости этой таилась опасность. Всю последнюю неделю я провёл в спячке среди других тел, лежавших бессмысленно на песке, и теперь моя новая, только что промытая душа ничем ещё не была защищена.

Купол неба наполнился раскатывающимся грохотом. Казалось, исполинский каток расправлял, выравнивал его потрескавшуюся твердь с другой стороны. Наконец, грохот обвалился за край горизонта. Светящийся ливень повис на секунду, не достигая

земли, и сразу же, расправив крылья, рухнуло плашмя на серебристый город влажное тело архангела.

...сильнее вод многих, сильнее волн морских...

Тяжелые капли, словно тупые деревянные гвозди, прибывали к дому взбухавшую на стенах извёстку. Длинные водосточные трубы ожили по углам. Залитая водою крыша – вознесённый над домом маленький квадрат океана - стояла на четырёх урчащих водопадах, и антенны, усеянные зелёным электричеством, торчали из грязной бушующей пены, словно мачты кораблей, только что потерпевших крушение.

Комната позади меня, холодильник, одинокая кровать в углу, низкий стеклянный столик были совсем белыми, словно покрытыми толстым слоем инея.

А за окном прорастали сквозь мутную плёнку острые листья взъерошенных, мокрых пальм. Переливающаяся вода выгибала, выкручивала линии улиц, контуры крыш, узкие вскрики колоколен. Огромное, вращающееся колесо, ось которого уходила в небо, повисло над перекрёстком. В центре качался среди натянутых проводов обезумевший светофор. Он весь был облеплен мигавшими дисками. И фары плывущих от океана машин со свистом раскручивали цветные спицы.

Снова загрохотал каток в небосводе. И я увидел, что каменные чудовища появившихся из тьмы одноэтажных зданий медленно и неумолимо, будто шли на таран, надвигались со всех четырёх сторон на наш дом. Шли они боком, выставив свои острые чёрные углы и расплющивая чавкающее месиво травы, асфальта, лунных стеблей, распаренных молочных плафонов. Наполненное сырою извёсткой дыхание смешивалось с ветром, и птицы воздуха с карканьем кружились над ними.

Я стоял, перегнувшись пополам над подоконником. Где-то рядом разгуливал сквозняк – обрывок живого ветра, незаметно обосновавшийся в моей комнате. Мокрая, шевелящаяся темнота стекала за шиворот. Под стук деревянных капель – или это сердце моё так стучало? - невидимые водопады, готовясь к атаке, утробно урчали в железных трубах. Указательный палец сжимал, как взведённый курок, щеколду оконной рамы. Кусок ливневой пелены удушливым целлофаном плотно прилип к лицу. Прорези для глаз были слишком узкими. Любое движение отдавалось в затылке оглушительным шорохом. Белая проветренная насквозь комната всё ярче светилась от инея. Я выдохнул, наконец, застрявший в горле комок ветра. Сквозняк юркнул со свистом в угол и там притаился, дышать перестал.

Внизу промчалось пустое такси, на бешеной скорости крутанув колесо проводов вокруг светофора. Его пологая спина скрученным облачком мокрого пара и тьмы длилась в ливне. На вырвавшийся из машины короткий гудок никто не откликнулся в небе.

Мой взгляд проделал вслед за гудком мёртвую петлю, зацепился на мгновение за накренившийся крест колокольни, скользнул по пустой улице, наткнулся на стену из твёрдого кромешного мрака остановился на минуту и снова начал шарить наощупь по асфальту вокруг дома.

Когда их ослепляли молнии, вспыхивавшие теперь всё чаще, ползущие здания замирали и тарасились на нас, не мигая, своими воспалёнными, остекляневшими глазами. Но как только тьма возвращалась, они оживали. Алой желчью, еле сдерживаемым бешенством полоскался в квадратных зрачках электрический свет. Внутри его стояли плоские, смутные люди с концентрическими кругами вокруг головы. Люди, похожие на фанерные мишени, которые выставляют возле горящих факелов на ночных стрельбах, когда учат убивать... И они ждали...

Терпеливо ждали, что переполненная водой и сиянием крыша обрушится, и раздавит нас всех, наконец.

Осень.

Всего одна взбегающая по пригоркам тропинка, сохранившая гальку ещё и песок недавно ушедшей воды, ведёт в этот лес сквозь шуршание листьев, сквозь тонкий писк счастливых комаров, празднующих своё последнее солнце, сквозь слоистый настой из хвои с костяникой, жухлых грибниц и коры, накопившийся в тёплых воздушных ямах.

После тропинки начинается холмистый ковёр, отороченный бледнозелёным мхом с потрёпанной бурой бахромою и с прорехами ноздреватых валунов, непрерывно меняющих окраску. Переломанные солнечные лучи торчат между ними. Ковёр, словно пол распахнутого для всех, лучистого храма, синий купол которого украшен пылающим солнцем. Опирается купол на обведённые по контуру деревьев многоярусные облака. А сам ковёр испещрен очень сложным узором, сплетёнными знаками леса – красными бусинками костяники и волчьей ягоды, неровными стежками сосновых иголок, маленькими круглыми зеркалами золотисто-черной, с алыми разводами, воды, чуть подернутой девственной гнилью.

Над ними сияющий ветер лес готовит к осенней службе. Узоры из светотеней тщательно к валунам подбирает. Выстилает их лучшими листьями огненных кленов. Гудит в облепленных солнцем и плесенью длинных волокнах, в трубах-стволах уходящего в небо органа. Водит по выгнутым веткам блестящими тонкими прутьями – словно янтарной смолою натёртыми, струнами тёмного света. В вышних пробует их звучанье...

Тёплый воздух промыт очень слабым раствором из уксуса и марганцовки. Повсюду горечь гниющего торфа, неразборчивые запахи возвращения в мёртвое. Мерцают в засохшей густой паутине одинокие капли дождя. С морщинистой кожи столетних деревьев отодраны ломкие краски, чтобы не дребезжали они от ветра, чтоб чище звучали стволы их. И корчатся между корявых коряг многоцветные стружья коры.

Тысячью протянутых во все стороны узловатых рук цепляются стебли за воздух. Всё глубже и глубже ветвятся, ползут волосатые, мощные корни, срastaются под землёю в белый фундамент, в скорние живущего храма. И слышно, как время течёт. Неспешное, прозрачное время осеннего леса, вобравшее все времена. Слышно, как в нём проступает знакомый прерывистый ритм, как низкое небо скользит по глазам, и музыка, обеззвученная музыка кружащихся в воздухе листьев, вплетается в стройный хор сосен, в насадное голошенье осин, лепечущие всхлипы лип, трепетанья и жалобы клёнов.

Высветляется, выветривается храм. Одиночеством старческим души деревьев наполнены. Ожиданьем смиренным минуты, когда зазвучат органные трубы воздыханьем-мольбою скукоженной листовенной плоти, молением о сохранении жизни, молением о воскресении мёртвых растений, цветов и животных. Беззащитность, щемящая беззащитность оставшихся один на один с холодами.

...ещё ненадолго есть с ними свет...

Входить туда надо вдвоём. Входить медленно, молча вслушиваясь в многоголосую литургию. В стекающий по куполу храма распев несметных ветвей, стволов и лучей, соединённых ветром. Входить осторожно, чтоб не вспугнуть серебристого ужа, греющегося всегда на одном и том же камне, или молодого, безрогого ещё оленя, который, покорно склонив голову, ищет в лощине еду среди бурого лишайника и посматривает на тебя с недоумением. Не раздавить ручеек голубых муравьёв под твоею ступнёю. Ведь народ в лесу очень пугливый. Мы вместе здесь прячемся от чужих. И, если ты с ними, ни одна ветка не хлестанёт тебя по лицу.

Потом - когда разговор наших тел перейдет, наконец, на сбивчивый шопот, когда он опять распадётся на два благодарных, утолённых молчанья - лежать на спине,

подставляя ладони солнцу. И кажется, что любовь на полу осенённого кронами храма была тоже частью живой литургии.

Вокруг нас дрожащие синие тени на мшистом ковре затевают борьбу. Взгляд блуждает среди голенастых деревьев. Из последних оставшихся сил выгибаются кверху их тонкие руки. Гудит деревянный огромный орган, и мелькают, кружатся голые стебли вместе с полосками жёлтого света, свисающего между ними. Задирают подолы цветастые рубища крон, выворачивают их наизнанку.

Закрываешь плотнее глаза, открываешь их снова - и сыплются, сыплются - уже наяву - чёрные стаи ворон из вывернутых подолов. Разинув застывшие клювы, кружат над твоей головой. Будто сотней раскрытых ножниц, беззвучно кроят из полинявшей от дождей синевы новую одежду для ветра.

Косые линейки прутьев скользят по натянутым веткам, загнутым на концах, словно грифы со скрюченными колками, и льётся со всех сторон нам на головы высокий распеv сквозящего солнцем леса.

Снова сон меняется с явью местами, и на самом краю окоёма находишь год назад ещё удочерённую веточку с нашим сдвоенным именем. Зелёное платье её разодрано, перепачкано бурыми пятнами. Задубела совсем серебристая кожа, коростой покрылась, суставы торчат во все стороны. Но в длинном сердце, в тугих молодых волокнах сохранился ещё поющий остаток тепла. Только хватит ли ей на целую зиму? За близких особенно страшно. И, словно чтобы нас успокоить, она легко и привычно проводит танцующей тенью тебе по глазам.

Тёмный солнечный зайчик щекочет набухшие веки. Облетает листва. Облепляет лицо листопад. От стволов, возвратившихся вновь на свои места, идёт слабый свет. Ты слушаешь - почтительно и отрешённо - как течёт осеннее время жизни, как сливается оно с мелодией храмовой службы, как стекает по капле сквозь мох в кромешную тьму. Перестаёшь сопротивляться и падаешь в небо. Душа, как воздушный змей, привязанный к телу невидимой, прочною нитью, подхватывает Божий ветер и носится, носится, не находя себе места, под самым куполом леса.

И в последний момент успеваешь увидеть сквозь узкую щель между явью и сном нас обоих.